

Ольге Тотровой,
чей голос я, надеюсь, еще услышу.

Однажды поздней осенью я приехал в довольно большой среднерусский город, где через несколько дней должна была состояться какая-то конференция, только косвенно связанная с моей ежедневной работой; и так как я был для организаторов этого мероприятия не слишком важной персоной, то меня поселили не в гостиницу, а в так называемый «домик приезжих», что-то вроде четверосортных гостиничных комнатусек, но я не роптал, потому что был ко всяким превратностям быта привычен и безразличен, отчасти. Но чему я был искренне рад, так это тому, что дом действительно оказался небольшим, одноэтажным и стоял на окраине города, почти у самого леса. Здесь было красиво, тихо, спокойно, а временные неудобства с лихвой окупались чудесной природой.

Мое временное жилище было устроено следующим образом: сразу за входной дверью был холл, оформленный в зеленых тонах, тут же, в глухом торце, находилось бюро регистрации; из холла лучами отходило пять коридорчиков, и в каждом из них находилось две комнаты – по одной справа и слева. В крошечной моей комнатке стояла узкая деревянная койка, покрытая светло-зеленым покрывалом, в изголовье которой висело зеленое двухрожковое бра; напротив кровати стояло крошечное неудобное кресло с грязно-зеленой обивкой и рядом – торшер с большим и зеленым, опять же, плафоном; за окном моим виден был бор и цвет моего жилища таким образом замечательно с ним гармонировал. На этом описание можно закончить, так как все остальные, то есть гигиенические, удобства этого дома были общи-

ми, но уж пять-то дней точно можно было с этим мириться.

Конференция начиналась еще только завтра, и у меня впереди был день целый свободного времени. Поэтому я пробыл в своем «номере» ровно столько, сколько нужно, чтоб слегка привести себя в божеский вид после дальней дороги, и тут же отправился в город.

Весь день я гулял по старому центру – любовался нарядной средневековой архитектурой и помпезными купеческими особняками позапрошлого века, побыл недолго в крошечной уютной церквушке – наедине со своею душою, далекой, впрочем, от бога, побродил по старинному парку, погруженному в осень, подышал незнакомым воздухом, попил незнакомой воды...

Душа моя отдыхала после долгого времени постоянных нелепостей, неудач, неурядиц; я был рад, наконец, оказаться вдали от всех, кто мог меня знать, о чем-то расспрашивать, выражать какие-то чувства, соотнесенные с моим настоящим, прошлым и будущим... Я именно ради этой возможности и оказался за тридевять земель на этом *мероприятии*, совершенно для меня бесполезном в действительности.

Уже перед самым вечером, проголодавшись до дрожи, я зашел в случайный невзрачный ресторанчик, неожиданно вкусно поужинал, выпил вина и теперь был если не счастлив, то по крайней мере не в разладе с собою, а впереди ведь меня еще ждали целых четыре таких же замечательных дня, и лес, и покой... это было прекрасно, как сказка, и я не собирался упустить ни единой минуты этого праздника.

Когда я возвратился в свой «дом», на улице было уже довольно темно, и начинал понемногу накрапывать дождик. В центральном холле горел аварийный свет, сонная регистраторша на меня взглянула вполглаза и вновь задремала, а лучи коридоров были темны – свет из холла едва достигал их начала. Я, видимо, был немножечко навеселе, ну самую капельку, и пребывал в состоянии упоительной меланхолической эйфории... Наверно поэтому почему-то не доставая ключа, я потянул за ручку двери своей комнаты... и дверь отворилась... Я шагнул в совершенную темноту, затворил за собою дверь и не успел сделать и двух шагов, как вдруг услышал:

– Скажите, вы всегда без стука входите в чужую комнату?

Я аж вздрогнул от неожиданности, а ироническое контральто продолжило:

– Надеюсь, вы не преступник?

– Нет, я Резник, – поспешно ответил я, и мой глупый ответ заставил голос негромко и вызвительно рассмеяться, и я тоже почему-то рассмеялся в ответ.

– Тогда оставайтесь, Резник, стоять возле двери и представьте мне дальше, если это не будет так же страшно, – непререкаемым и насмешливо-чопорным тоном приказал невидимый ментор.

Я повиновался, представился, после чего наступила вдруг долгая пауза; казалось, моя собеседница задремала, но я не решался ни уйти, ни приблизиться к ней, ждал безропотно, что будет дальше... когда голос вдруг ожил и продолжил беседу так, как будто мы очень давно и коротко очень знакомы:

– Знаешь, у меня сегодня с утра и весь день болит голова. А теперь ты пришел и вдруг голова у меня болеть перестала. Побудь немного со мной, хорошо? Только, пожалуйста, не подходи, стой там; мне кажется, что я плохо выгляжу, и я не хочу, чтобы ты меня видел. Пожалуйста.

Голос был нежный, низкий, с теплыми обертонными, серебристыми модуляциями... Это

был колдовской, удивительный, неопиcуемый голос, голос гурии и прокурора, королевы и ментора... Голос все время менялся, переливался многочисленными оттенками, он был глубоким, как осень, помпезным, как купеческий особняк, колким, как холодные капли дождя, уютным, как старый заброшенный сад... Это был голос настоящей сирены, и я мгновенно попал в его прочные сети, в его нежную власть, я стал пленником этого голоса, я влюбился безумно с первого звука, чего со мной никогда в жизни не было, не было никогда даже с первого взгляда...

В маленькой комнатке витал тонкий запах каких-то чудесных духов, а в моей голове витал легкий винный туман; все это вместе дразнило воображение, рисовало какие-то странные образы – бесплотные, неосязаемые, описанию не поддающиеся... А сирена вдруг стихла и с нежной доверчивостью ребенка еле слышно сказала:

– Мне бы хотелось на тебя посмотреть. Ты такой легкий весь, праздничный... Наверное, мы бы друг другу понравились... Я не знаю... Мне так странно и тихо оттого, что ты рядом... Так странно и тихо... Но только видеться нам сегодня нельзя... Я чувствую, что сегодня нельзя, невозможно...

– Мне тоже, – сказал я, искренне и с надеждой, когда она смолкла, – хотелось бы вас увидеть. Может быть, вы разрешите мне все-таки сесть рядом в кресло?

– Нет, оставайся у двери. Мне почему-то кажется, что этого тоже делать не надо, что это тоже нельзя, а я доверяю всегда своей интуиции. Только не обижайся. Мы увидимся завтра. Наверное... Знаешь, я сегодня весь день чего-то ждала. А теперь ты пришел, такой близкий, нежный, умиротворенный... Наверное, от ожидания голова и болела, оттого теперь и прошла...

После всей этой мистики и, несмотря на решительный и непреклонный запрет, мне еще больше хотелось ее рассмотреть; я вытягивал шею, старался наклониться как можно дальше, но все было тщетно, я видел только смутное очертание женщины, лежа-

шей одетой поверх одеяла, густую копну волос, разметанную по подушке, блеск темных глаз иногда, когда она слегка приподнимала голову, я мог видеть еще невнятный абрис лица в темноте, – только все это не давало ни малейшей возможности представить что-либо конкретно...

А моя собеседница вновь затихла и неподвижно лежала, но слова не произнося, и слышен был только дождь, неожиданно быстро набравший полную силу, да ветер, гудящий в ветвях, и остервенело швыряющий в окна струи дождя.

Внезапно она поднялась с кровати, низко наклонив к груди голову, так что густая копна волос упала на одеяло и, не повышая голоса, приказала отрешенно и властно:

– А сейчас уходи. Мы увидимся завтра. Я очень устала и теперь хочу быть одна. Это не вычурно, извини, мне отчего-то снова становится не по себе. Уходи... – и застыла, как в сомнамбулическом трансе...

Я потом еще долго лежал без сна в своей комнате и слово за словом, интонацию за интонацией перебирал в своей памяти все, что произошло, ощущая с безумным восторгом, как жжет меня изнутри ожидание утра...

Назавтра с утра сложилось все суматошно, неправильно, непоправимо... За ночь во мне родился непонятный какой-то страх, какая-то робость, и я смалодушничал, решил, что успею, что не стану искать ее утром, поехал зачем-то в зал заседаний, но не досидел и вернулся, а не раздеваясь кинулся во вчерашнюю комнату, ведь вчера я вошел во второй коридорчик не справа, а слева и теперь совершенно точно знал, куда мне надо идти...

В ее номере прибиралась пожилая толстая горничная, и он выглядел абсолютно пустым, не жилым. Я как-то сразу и бесповоротно

все понял, но все же, на всякий случай, стал расспрашивать про вчерашнюю гостью: где она или где может быть. Я нервничал очень сильно и, должно быть, расспрашивал с излишним напором, потому что горничная вдруг презрительно уставилась на меня и отвечала с тупым и преувеличенным равнодушием, что жилища с утра еще съехала, а куда, так это ей не доложили, может, в какой из гостиц получше номер нашелся, почем она знает, – и стала с угрюмым усердием прибираться себе дальше, ко мне повернувшись спиной.

Я решил, что моя вчерашняя собеседница, как и я, приехала на конференцию, и тщетно искал ее в залах, и не смог узнать ее имя в бюро регистрации, и прислушивался ко всем голосам всех женщин подряд, и в городе тоже, и в транспорте, и на вокзале... старался все время оказаться поближе к любому скоплению болтающих дам. На меня даже стали коситься, но мне было на все и на всех наплевать, мне так нужно было ее отыскать, продолжить это внезапное ночное знакомство, услышать, увидеть!..

Я хорошо понимаю, что все это было случайно, как город, как ливень... как сон... и закончилось так потому, что иначе ничем и закончиться не могло... Но я все никак не забуду удивительный голос и внезапное чувство влюбленности и восторга, и необъяснимого счастья...

Теперь уже редко совсем, только когда до безумия долго мучит бессонница, а за окнами, как и в тот вечер, остервенело воет ветер и бьется насмерть с дождем, я вдруг совершенно отчетливо слышу в глухой темноте волшебное это серебряное контральто, слышу каждое слово, произнесенное ею в тот вечер, и так холодно мне потом, и так... безнадежно.

За окном стояла крошечная зимняя тьма и куражилась вьюга. А в маленькой, жарко натопленной комнатке, где за столом при двух неярких свечах сидели тесным кружком старые одинокие люди, царили уют и покой. Сидели молча, только изредка переглядывались, посматривая на новичка – худого лысеющего мужчину с седой эспаньолкой. А тот отрешенно глядел за спины сидевших в черный проем окна, и если изредка и взглядывал на окружающих, то как-то так вскользь, никого на самом деле не видя, не замечая. Только тогда, когда уже громко и многозначительно покашливать начали, новенький перестал, наконец, глядеть в темноту и какое-то время, пытаясь сосредоточиться, внимательно всматривался в лица сидящих, в лица тех, с кем ему, вероятно, предстояло прожить в этом доме множество, множество дней. Он ведь в жизни не думал, что может здесь оказаться, что когда-нибудь станет вдруг одним из этих брошенных всеми, забытых всеми людей... Да кто ж, когда и зачем о таком думать способен(?)

Наконец, будто вынырнув из какой-то невероятной бездны, старик несильно помотал головой, медленно, крепко потер лицо большими ладонями... и только тогда заговорил – негромко, спокойно, отстраненно несколько, так, будто и не было в комнате никого, будто это он сам с собой разговаривал:

– Мне сказали, что здесь как бы обычай есть: каждый новоприбывший должен немного о себе рассказать, о том, что его в конце концов в это виталище привело, чтобы лишних вопросов потом не задавали. Ну что ж, обычай – значит обычай, не мне нарушать.

Меня Александром Павловичем зовут. Раньше я жил далеко отсюда, в огромном провинциальном городе. Величина и провинциальность ведь не исключают друг друга. Да, так родственников у меня давно

уже нет никаких, поэтому, когда на пенсию вышел и жизнь мегаполиса – шумная, суетливая – раздражать, угнетать стала, решил перебраться в провинцию поменьше и поспокойнее: купил несколько лет назад на окраине вашего тихого городка крошечный домик с садом и переселился; а последнее время сдавать начал быстро, прибаливать часто, да и одиночество отчего-то крепко стало давить... Вот и попросился сюда.

Но только это все внешняя, несущественная сторона, потому что на самом-то деле дорога в приют началась пятьдесят два года назад, вот в такой же снежный и ветреный день.

Ну да, не улыбайтесь. Вроде как до седых волос и болезней еще было далековато, но только кто ж знает, из какого события-встречи что вытечет...

Совершенно точно этот день и час помню, потому что я здесь оказался... из-за таракана. Да-да, из-за обыкновенного черного, мерзопакостного таракана. Полвека прошло, а мне и до сих пор непонятно и странно, как один какой-то пустяк, ерунда дикая может полностью изменить, сломать, растоптать твою жизнь. И бесповоротно...

1

Я за три зимы до события этого влюбился ужасно. Первый и последний раз в жизни просто голову потерял; даже и не объяснить толком, что со мной происходило. С ума, наверно, сошел.

Мы познакомились перед самыми новогодними праздниками, после студенческой вечеринки. Я ее почти сразу заметил, и не потому, что она была какой-то необычайно красивой и броской – наверное, ослепительной красавицей назвать ее было нельзя, – но хоровод мужской она ловко крутить

умела, подавала всегда себя так – устоять невозможно. Вот и в тот вечер такое удивительное кружение вокруг нее происходило. Только на самом этом вечере я к ней подойти не решился. Даже потанцевать ни разу не пригласил, постеснялся, хоть до этого никакой такой особенной робости по отношению к девушкам за собою не замечал – знакомился запросто.

Ну, так вроде бы и не должно было случиться это знакомство, потому что она на совершенно другом факультете училась. Вроде бы не должно... Но только мы после вечера странным образом рядом в автобусе оказались, локоть к локтю (я еще тогда удивился сильно, что она без провожатого домой едет), ну и разговорились, вернее, она меня тогда в разговор втянула.

– Я видела, вы на меня весь вечер смотрели... Меня Милой зовут или Милочкой, если хотите...

Говорила она тихо, почти шепотом, но дерзкая колкость и сквозь шепот явственно пробивалась, вполне явственно, а насмешливый взгляд очень красивых золотистых глаз интонацию эту только усиливал. Я от такой открытой бесцеремонности растерялся даже – не то чтобы слишком, но вполне достаточно, чтобы Милочка смущение мое разглядеть смогла. А она, увидав, что стрела точно в цель угодила, стала дальше насмешничать:

– Я в Песчаном переулке живу, в общепитии. Если у вас есть немного времени, вы могли бы меня проводить, а то там темно и страшно. Вы, наверное, темноты не боитесь? Я ведь на вас рассчитывала: видите, одна еду. Ваши сказали, что нам по дороге. Правда?

Еще спрашивала, провожаю ли девушек, если уже очень поздно; когда из автобуса вышли, стала заботливо узнавать тепло ли одет, не замерзну ли по дороге, потому что идти далеко; перед самым подъездом вежливо поинтересовалась хорошо ли запомнил дорогу, а то вдруг заблужусь в незнакомом месте... И уже возле самой двери всего на

секунду остановилась, подставила было щеку для поцелуя, но тут же отпрянула, приснула:

– Загляни как-нибудь», – и хлопнула дверью.

Так у меня с Милочкой Глазенапой знакомство и завязалось. Только имя ее ей совершенно не подходило, никакая милочка в ней даже и не ночевала. Во всем проглядывали эгоизм, гордыня, жестокость, холодная трезвость... Женщины, как мне кажется, вообще прагматичней мужчин, а уж Милочка – любовью могла бы дать фору. Впрочем, гибкий ум, изящество, чудесная женственность, обольстительность, чувственность, страстность... все скверные качества сглаживали, усыпляли, притупляли мужскую бдительность: скорпион в меду. Нет, неправильно. Правильно – мед в скорпионе. И меда этого ой как сладко, и ой как не просто было отведать.

А вот фамилия Глазенапа шла ей необычайно, потому что глаза у нее были восхитительные: немного выпуклые, огромные, золотые, а ресницы – темные, длинные, будто две ночных бабочки. Изумительные были глаза! Из-за них для меня чудесная эта фамилия навсегда превратилась в имя, и я иначе, как Глазенапой, ее и не называл никогда. Даже когда мы ссорились. Даже потом, когда уже насовсем расстались, мысленно называл ее только так. Она и сегодня, через полвека, остается для меня – Глазенапой. Жива ли – не знаю.

2

Я домосед и книжник, мало где был, мало что видел, да и «охоты к перемене мест» никогда особенно не было, оттого, наверное, и в людях всегда разбирался неважно, особенно в женщинах. А она мне в тот вечер так в душу запала, что и разбираться ни в чем не стал бы, даже если б умел...

Я, конечно, на следующий же день не пришел, прилетел, примчался, принесся... еле

дожил до вечера. Мы долго гуляли, говорили про все на свете – знакомились. Глазенапа, невозможно представить, за этот короткий срок изменилась до неузнаваемости: вела себя тихо, серьезно, даже ласково, ни единой насмешки или колкости – узнать невозможно. К сожалению, после, через совсем короткое время, немного совсем часов таких выпало – мирных, добрых... А я привязывался, прикипал к ней все больше и больше. Если вдруг что-то мешало прийти, места не находил, дожидаться не мог, когда можно будет увидеть, в глаза чудесные заглянуть. И все время мне почему-то казались отношения наши слегка нереальными: вроде, как и на самом деле, а вроде как сон – и не очнуться, никак.

3

Так тихо и мирно, как я уже и сказал, продолжалось совсем недолго. Стоило Глазенапе в один прекрасный момент посчитать, что рыбка с крючка не сорвется, как она стала аккуратно менять отношения. Потихоньку образовала между нами небольшой коридорчик-дистанцию; и то пекло в коридорчике этом стояло – невыносимое, то гулял ледяной безжалостный ветер, все вымораживая, то тишь и благодать царили, давая душе передышку, то, все живое уничтожая, ураган безумный ревел. И держала она дистанцию эту необычайно умело – не мягко – не жестко, так чтобы надежда на доброе будущее всегда оставалась, но и в уверенность никогда не перерастала.

Но, видимо, она что-то не так просчитала, где-то переборщила и месяца через три-четыре после знакомства отношения наши дали легкую, чуть заметную трещинку, ведь совсем немного времени миновало, не успел я еще окончательно на крючок насадиться.

Впрочем, она эту трещинку первой почувствовала, а когда трещинка стала и для меня

довольно заметной, вдруг объявила, что хочет от меня отдохнуть. Нет, никаких расставаний, ни боже мой, просто экзамены скоро, дел масса... И все в том же духе. Я пару раз после этого попытался с ней встретиться, но такой отпор получил... Расстались. Может из-за того, что она внезапно и резко так все оборвала, мне муторно было – невыносимо, увидеть хотелось – ужасно... Как вдруг, в середине лета, получаю письмо: «Приезжай, если можешь», – и адрес.

Я на перекладных чуть не сутки к ней добирался – их фольклорную экспедицию в такую Тмутаракань заслали... едва отыскал.

Глазенапа на шее моей повисла, все всхлипывала, всхлипывала, просила прощения, целовала, ласкала, не могла оторваться. И такой тогда на меня водопад счастья обрушился, такой ливень чудесной, удивительной нежности!.. Мы два дня выходных ни на миг не расставались. Ушли из поселка. Бродили по лесу, целовались не переставая, купались в лесных озерах, даже ночевали в чащобе лесной у костра, чтобы никому-никому на глаза не показываться – не хотел я, не мог никаких людей видеть, чтобы они даже взглядом к нам не прикоснулись, даже малюга капельку счастья отнять, украсть не смогли.

А через месяц всего Глазенапа вернулась в город – равнодушнее камня. Будто и не было ничего совершенно, будто я в какой черной измене повинен, будто... Да бог с ним. Все давно уже без остатка растворилось во времени и пространстве, развеялось по ветру.

Потом (мне девчонки нашептывали время от времени всякие глупости) Кочубей какой-то у нее появился – пропал. Еще что-то... Так мы с нею сходились и расходились все время. Сходились и расходились. Стоило только ей позвать меня понастойчивей, как я готов был забыть, простить все на свете. А потом вдруг сель ледяной с горы падал – и все и вся погребал под собой, все и вся...

Как-то осенью, когда отношения были почти что нормальными, купили мы с Глазена-

пой на неделю путевки в пригородный дом отдыха. Приехали рано утром. Не успели домик занять и распаковаться, как Глазенапа исчезла и появилась только в столовой, за ужином. Она вся была возбужденная необычайно, покрасневшая: «Так здорово, так интересно!.. Я потом, потом тебе все расскажу», – и снова исчезла, до ночи. Так и продолжалось: она с утра раннего убегала куда-то, и встречались мы только в столовой и в домике поздно ночью: «Ой, спать хочу страшно, завтра все, завтра, не обижайся...». А я все это время слонялся один по окрестностям, как дурак неприкаянный, понимал, что что-то еще при покупке путевок было задумано, но даже представить не мог, с кем, почему и зачем. На третий день вечером я вещи собрал и уехал. После этой выходки дикой я довольно долго Глазенапу не видел, и вроде бы даже остывать стал, на других девчонок засматриваться... Только мы совершенно случайно(?) встретились в букинистическом, разумеется, разговорились и карусель эта чертова завертелась по новой.

4

Три года длилось такое невыносимое счастье, и конец отношениям – даже и представить было нельзя. Будто цепко трясина держала, будто и вправду существует приворотное зелье и меня опоили. Никакие, ничьи доводы не помогали, не действовали... Да и не хотел я ничьих доводов слышать. За одно доброе слово, прикосновение ласковое – душу готов был продать.

Однажды, в одно из редких добрых мгновений, я сделал Глазенапе предложение. Она долго молчала, как-то нахохлилась, съежилась вся, а потом вдруг расплакалась горько-прегорько, навзрыд просто, и убежала. Несколько дней после этого отыскать ее нигде не удавалось. Потом внезапно сама позвонила и была какое-то время, что называется, тише воды и ниже травы, но вернуться к разговору о свадьбе больше не позволяла.

Видно, не так я, не вовремя что-то сделал, не тот выбрал случай... Так и повисло тогда это в воздухе, а после и вовсе растаяло.

5

Да, так вот не спеша мы к концу почти и подоברались. Как я уже и сказал, закончилась эта история, как и началась, почти перед новым годом. Глазенапа в тот день позвонила мне рано утром и попросила заехать:

– Ну, на часик всего, ну, может, на полтора – подарки купить, ну, самое большее – на два. Мы быстро-быстро, а потом, соседка уехала, у меня посидим... Ну вот и чудесно, вот и ладошки.

Мы весь день до бесконечности по универсамам, магазинам, лавочкам, лавкам, лавчонкам, базарам торговым рядам и центрам бродили, бродили, бродили... Искали подарки, наряды, бижутерию, косметику – всякие и разнообразные глупости. К вечеру от усталости, холода, голода, мокрых ног – я осатанел просто. Если б не груда пакетов, коробок, коробочек, свертков... которыми я был нагружен, – бросил бы все давно к чертовой матери. Настроение у меня при этом все время менялось: я то приходил в щенячий восторг от изящества и чудесной женственности Глазенапы, то впадал в угрюмое ожесточение от бесконечности и занудности происходящего.

К тому времени, когда все, наконец, пошло к концу мы, будто сильно друг другу поднадоевшая супружеская чета, бранились не переставая, в голос, пугая и возмущая прохожих, но больше ни на кого не обращая внимания, и когда наконец, уже в сумерках, сели в трамвай, чтобы ехать домой, я был уже просто на грани, накален до абсолютного бешенства... А тут еще чертов трамвай набитый битком! Меня с моей дикой гирляндой (держаться мне было, разумеется, нечем) пинали, крутили, дергали... Наконец, на мое несказанное счастье, прямо перед Глазена-

пой какая-то бабка вдруг поднялась и стала к выходу продираться. Глазенапа тут же плюхнулась на свободное место, я немедленно ей на колени свалил все покупки и встал позади за ее креслом, чтоб она не могла меня видеть, а она в темноту за окном уставилась и мы оба демонстративно молчали.

На ней в тот день было светло-серое кашемировое пальто с большим песцовым воротником и песцовая шапка-башня – все очень красивое, светлое, серебристое, прямо искрящееся.

А момент, когда все началось, я пропустил. И откуда он взялся – зимой, в трамвае, в лютый мороз – просто непредставимо. Может, из сумки чьей-нибудь выполз. Скорее всего. Только я таракана увидел, когда он уже выше локтя Глазенапиного забрался. Таракан был огромный, откормленный, отвратительно-черный, и взбирался он не спеша, останавливаясь, оглядываясь, наслаждаясь, видимо, замечательным приключением, пока не добрался до воротника и не уселся на серебре песцовом, над левым плечом, преспокойно и важно шевеля отвратительными усам и лапами перебирая. Мне б стряхнуть его, сбить, а на меня будто ступор нашел, будто парализовало и такое вдруг отвращение, омерзение внутри поднялось, почему-то на Глазенапу перенесенное – и передать не могу... Так аж до тех пор продолжалось, пока майор-артиллерист молча не сбросил его щелчком на пол. А я в ту же минуту протиснулся к задней двери, вышел... И все.

6

Больше я никогда Глазенапу не видел.

Поначалу так и не смог себя перебороть. Во мне, точно шип, таракан проклятый тор-

чал. Будто он у нее изнутри откуда-то вылез. Она даже звонила как-то, да я трубку бросил. Отвращение – непереносимое, непреодолимое просто – тогда во мне поселилось.

Потом я из города, где жил и учился, уехал надолго. А когда назад через много лет возвратился, так мне ужасно снова увидеть ее захотелось!.. Даже таракан этот мерзкий как-то забылся. Да она к тому времени тоже уехала, и найти хоть кого-нибудь, кто бы знал о ней что-то, сколько я по старым знакомым своим не метался, – так и не удалось.

Со временем скверное выцвело, притупилось, только искры счастья в душе остались, и чем дальше, тем ярче они становились, пока память не превратила все в ослепительный, незабываемый фейерверк...

Нет, были после, через время, какие-то встречи, какие-то женщины... Иногда даже далеко довольно отношения заходили. А потом я вдруг, посреди отношений этих, вспоминал Глазенапу... На этом все и заканчивалось, потому что все пресными по сравнению с нею казались, абсолютно безвкусными, как трава.

Вся остальная жизнь тоже не очень удачно сложилась. В ней будто во всем провал без Глазенапы образовался, ледяной, бездонный, ничем и никем не заполнимый провал. Все в судьбе поперек пошло, и вот, наконец, здесь, среди совершенно чужих мне людей, завершится!

Мне кажется, что постепенно могло бы у нас все наладиться, образоваться и, вероятно, теперь не здесь бы, не так заканчивалось... Дался же мне тогда... этот трижды проклятый таракан.

1

В одном маленьком, неотличимом от великого множества захолустных собратьев своих, городишке жил в одно время доктор.

Был доктор не старый еще мужчина – годов сорока, нормального роста, приятной, интеллигентной внешности – в общем, самый обыкновенный. Приехал он в городок в ранней юности, сразу, как учебу закончил, да так и остался.

Характером мягкий, любезный к пациентам, да и ко всем прочим людям, внимательный и спокойный, пришлось он местным жителям очень даже по вкусу. Врач из него неплохой со временем вышел, так что и в этом качестве он горожан даже более чем устраивал. Вот только хоть и жил доктор вроде бы у всех на виду, но в личной жизни вел себя как-то уж чересчур замкнуто и нелюдино – за дамами местными не ухаживал, ни с кем из мужчин не приятельствовал, а уж дружбу не водил и подавно. Даже общество местной интеллигенции навещал крайне редко; тогда только, когда от приглашения уж совсем никак нельзя было отказаться.

В таком поведении не замечалось с его стороны ни малейшего неуважения, фанабэрии или презрения к окружающим, потому местный люд к такой его манере держаться постепенно привык, и на отношении к доктору, как к человеку, это никак не сказывалось.

Тем не менее, хоть его в городишке заштатном все знали и уважали, находили местные жители, что он, как бы это помягче сказать, не в себе малость. А чтоб хоть каким-то образом поведение эксцентрическое для себя объяснить, строили всякие плоские провинциальные домыслы. Ну, там, например, про любовь несчастную, про друга предавшего... И дальше все в том же духе и роде. Но только доктор на домыслы эти никак совершенно

не реагировал, и они потому долго на длинных языках не удерживались.

А поначалу, пока в диковинку доктору на новом месте все было, вроде бы ладно жизнь складывалась, нормально все выходило. Но только чем дальше шло время, тем все больше и больше захватывало его отчаяние. Потому что там, откуда доктор приехал, ничего ему в будущем не светило. Здесь же, как оказалось, не только будущего не существовало, но и прошлое постепенно куда-то без остатка из жизни поыветрилось. Так хотелось иногда кого-нибудь встретить. Кого-нибудь, с кем тыщу лет, например, с самой школы не виделся. Чтob обрадоваться ему, как родному, обняться, за несвязным восминальческим разговором просидеть долго-долго... Невозможно! Оставалось навсегда и во всем одно только косное, мерзкое, осточертевшее настоящее. Была в этом какая-то отвратительная окончательность и бесповоротность. Просто дико, неизменно все складывалось, и чем дальше, тем хуже.

Из-за всех этих мыслей и настроений он сам все больше и больше в беспросветный вакуум погружался, а в глазах местного люда превращался постепенно в нелепого провинциального чудака – полезного и безобидного.

2

Однажды у него уже был дикий срыв, когда бросил он все к чертовой матери, сел внезапно, как был, в случайный скорый состав и... Через два часа ссадили его контролеры, оштрафовали, ночь продержали в кутузке... и назад он, без документов и денег, целые сутки ташился. Называется, сбил оскомину!

Доктор тогда первый раз в своей жизни напился. В одиночку. До потери сознания.

Больше воля и собранность никогда его не подводили, не отказывали.

Он задолго еще вдруг отчетливо стал понимать, что снова доходит до ручки. Тогда ринулся доктор в ближайшие выходные на толкучку, купил подержанный велосипед, набрал концентратов полный рюкзак, взвалил его на спину, чтоб ни единого человека – ненароком даже – не встретить, выехал сразу, как только звезды зажглись, и помчал во весь дух – нигде, ни за чем ни на секунду не останавливаясь. Прервал свой путь первый раз, когда солнце серебристый туман утренний позолотило, возле леса, где можно было спокойно поесть-попить и отоспаться. Он спустился в ложбину, разжег большущий костер, наскоро перекусил и потом долго-долго на жар пунцовый смотрел и могучий гул огня слушал. А наслушавшись и насмотревшись, как мертвый уснул; проспал весь остаток дня и всю краткую летнюю ночь, а с рассветом снова в путь-дорогу отправился.

Только на пятый день исчезло у доктора сомнение в том, что сбежал-таки он ото всех, от всего, даже, может быть, от себя. Тогда нервы его понемногу в порядок приходиться стали, «ровно камень отлегло», и теперь он мчался вперед уже в совершенно другом состоянии – успокоенный и умиротворенный, потому как поверил окончательно и бесповоротно, что побег от обыденной, опостылевшей жизни удался, наконец.

3

Море возникло внезапно. Незадолго до вечерней зари открылся простор его с высоченной пепельной кручи, до подножья местами поросшей кустами и разнотравьем.

А море горело золотом и бирюзой, слепило глаза, мятущуюся, неприкаянную душу расстраивало... Еще яхт разноцветные паруса виднелись вдали, а в самом низу, тесно зажатые между морем и скалами, сгрудил-

лось десятка два маленьких белых домиков с разноцветными – красными, зелеными, синими – трубами и сети висели кругом, и лодки рыбацкие прибой качал возле берега... Красиво-то как! Будто угол горный отыскался вдруг на земле. Будто вспомнилось что-то чудесное из далекого-предалекого детства.

Доктор отбросил велосипед, свесив ноги, уселся на самый край кручи и застыл – огуленный, ослепленный, пораженный этой непостижимой и невысказанной красотой.

– Меня Оксаной зовут, – невысокая, ладная стояла женщина на самом краю обрыва рядом с доктором, – я из церкви иду, а вы тут сидите, как вкопанный. Я долго, еще от поворота, гляжу – сидит не шелóхнется. Вы не тутошний. Может, вдруг занедужали? Может, помощь нужна какая? Та што ж вы молчок да молчок? Может, слышите худо?

Говорила женщина быстро, весело. Подвижная, жаркая, вызывала она приятельскую, острую, произвольную. Потому доктор, еще не вполне отошедший от внезапной своей зачарованности, головой покачал, плечами пожал и вдруг расхохотался – да так громко, неудержимо, как в жизни своей никогда не смеялся. А женщина, переждав с улыбкой, когда он насмеется всласть, снова стала сыпать словами:

– Я вон там живу, где дом с красной трубой. То пацаны, трясца в бок, как-то ночью созоровали. Народ утром проснулся – а оно уже так – все повыкрашено. Поначалу-то хозяева хлопцам уши грозились нарвать, краску напокупали, да так никто по сю пору трубы и не перекрасил. Я тоже краски купила. Только вот, как и все, сомневаюсь теперь, а может, лучше так? Вы что скажете? Ну вот, вдругорядь замолчали!

А у меня на ужин сегодня сырники со сметаной и чай с душицей. А как звезды выйдут, пойдём вон туда, видите, где маяк? Тамочки камни плоские есть, огромные – страсть. Ну, чистая танцплощадка. Люди на тех камнях, после, как повечеряют, собираются: костры

палят, беседы ведут, море слушают... Мы тоже костер запалим; станем в огонь глядеть и, если ласка на то ваша будет, любезничать. Та хватит вам молчки на круче сидеть. Пойдемте!

Доктор вдруг поднялся и послушно, как маленький, стал вслед за щебетуньей радужной спускаться по узкой крутой тропинке

к белым прибрежным домикам с разноцветными трубами. А женщина говорила все время что-то, смеялась... Но что говорила, чему смеялась – из-за шума морского слышать не удавалось никак, да и неважно было это уже – совершенно.

А велосипед так и остался лежать на круче. Может, еще кому пригодится.

СИНЬЯЗ

Только роскошные черные, волнистые волосы на мгновение задерживали внимание, а потом, встретив стеклянные, бешеные глаза, которые, казалось, прожгли до предела натянутую на череп пергаментную кожу, – желание продолжать разглядывать немедленно и бесповоротно улетучивалось, взгляд позорно бежал в сторону, в сторону, чтобы к лицу этому вновь без крайней необходимости не возвращаться.

1

Ее звали Линдой (она свое имя ненавидела люто!), но большинство знакомых, учитывая ее дальние азиатские корни, сохранившиеся в разрезе глаз, высоких скулах и цвете волос, называли ее – за спиною, конечно, – Синьяз, что значило «синяя язва».

Ей было уже двадцать шесть! А у нее никогда никого еще не было. Никогда. Никого. Она знала, что непривлекательна... Да ладно – уродка! Но это ничего не меняло, совершенно ничего не меняло. Ведь никогда, никого!..

А тут вдруг за нею стали ухаживать... Красивый... В театр ее пригласил. Потом, через несколько дней – в кафе. Потом... по телефону несколько раз разговаривали. Потом он вдруг позвонил и сказал, что есть две путевки в горы: можно пожить на Яворнике в приюте – избушке в горах, покататься на лыжах...

2

Они долго взбирались по ледяной тропе вместе с группой; он тащил ее – оскальзывающуюся, неловкую – за руку, балагурил, знаки внимания проявлял...

Когда добрались до приюта, оказалось, что нужных вещей почти ни у кого с собой нет. Инструктор выбросил на середину огромной приютской комнаты кучу разноцветной одежды и она, точно птица, налетала на цветной этот ворох, выхватывая каждый раз что-нибудь новое, необыкновенное, яркое. Яркое-яркое!.. Она даже похорошела немного... кажется...

Потом был вечер. Такой, такой вечер!..

А потом! А потом! А потом! А потом у него... не вышло.

И он орал на нее, как бешеный.

И ударил.

3

В кафе было довольно темно: огоньки цветомузыки бежали по стенам, свечи горели на столиках – вот и все освещение. Линда сидела за дальним столиком, крошечными глоточками пила красное вино, курила и плакала. Нет, никакие бабские слезы она не лила – так не было никогда. В жизни не было! Просто она в состоянии таком находилась,

когда слезы не льются потому, что это табу, а внутри все жжет совершенно невыносимо...

Она понять не могла, как этот рыжий сопляк оказался напротив. Он просто вдруг проявился перед глазами – как дух.

«Что, места другого нету,» – рявкнула она так, что он аж с места подскочил от неожиданности, но тут же и отошла, ей даже вдруг стало немного смешно и она, ухмыльнувшись, милостиво разрешила: – «Ладно, сиди пока», – и замолчала, уставившись на огонь свечи, мгновенно забыв о том, что он существует.

Уже посетители стали понемногу расходиться перед закрытием, когда она снова вынырнула на поверхность, обнаружила, что рыжий все еще здесь и безо всякого повода расхохоталась – зло и пренебрежительно, уставившись ему прямо в глаза. Парень пожал плечами, нагло присвистнул и вдруг предложил: «Слышь, чудная, давай пошляемся?» Линда зашлась аж от бешенства, но до желторотого донести его не успела, затормозилась и внезапно, ни с того ни с сего согласилась: «А давай!»

4

Они долго и молча гуляли по пустому ночному городу. Рыжий настырно пытался ладить с ней, а Линда отталкивала от себя его руки, стараясь это делать не резко, подавляя брезгливость; при этом ухажер ее дергался, бесился, цедил сквозь зубы, чтоб не строила из себя...

Наконец, они вышли на площадь, освещенную яркими прожекторами. В центре площади стояло ландо с откинутым верхом, запряженное огромной пегой горбоносой лошастью, лениво махавшей пушистым хвостом. Лубочный возница – дебелый мужик в вишневой шапке и лазоревом кафтане, подпоясанном красным кушаком – сидел развалившись на облучке и лениво курил. Что он тут делал в такой поздний час – одному только богу ведомо, может, ждал случайных клиентов из ресторана, открытого допоздна, мо-

жет, с кем сговорился... Линда неспеша пошла к лошади, потрепала картинно по белой холке, погладила серый, теплый, чистой искрящийся бок, с удовольствием вдохнула острый лошадиный запах, прислонилась щекой к горячей лошадиной шее – тесно-тесно... и неожиданно поцеловала кобылу в огромные теплые губы. Чуть не давась от хохота, повернулась к своему сексуально-удрученному спутнику и резким, ироническим тоном сказала:

– А теперь ты, – и застыла в небрежной, выжидательной позе, растянув тонкогубый рот в презрительнейшей из ухмылок.

Он глянул на нее как на придурочную, покривился, лихорадочно раздумывая, что делать, но додумать до конца не успел, когда следом раздался внезапный приказ:

– Тогда меня!

Колесики чересчур медленно крутились у рыжего в голове, чтобы реагировать адекватно на такие скачки чужих настроений, а выражение отвращения и брезгливости оставалось у него на лице еще от переживания прошлой мысли, но Линда поняла, должно быть, что-то свое, такое, что заставило ее сорваться с места и с бешеной скоростью ринуться через площадь...

5

Точно сомнамбула ходила она и ходила по темной пустой квартире, ударяясь о мебельные углы, и двери, и стены, и почти не чувствуя боли от этих ударов; какое-то время сидела перед зеркалом и курила, пристально вглядываясь в серебристо-черную глубину, где был только чей-то смутный, неразличимый абрис вокруг ослепительной красной точки; она вглядывалась до тех пор в зазеркалье, пока мир не стал стремительно и неумолимо сжиматься вокруг головы, не стиснул голову непереносимой, непередаваемой болью...

В ванной комнате, почти машинально, Линда достала из аптечки упаковку с барбиталом, аккуратно высыпала на ладонь горсть

таблеток и, глубоко запрокинув голову, в каком-то экстатическом трансе, неспеша стала тонкой струйкой высыпать их в широко распахнутый рот... Поперхнулась, зашлась хриплым, лающим кашлем, согнувшим ее в три погибели, отчего таблетки градом посыпались изо рта на кафедру...

6

На ней было узкое черное платье и изящные черные туфельки на каблучках, и в этом наряде Линда казалась совсем невесомой, почти бесплотной...

Она вся пылала! Ровным и звонким жаром горело все изнутри и от этого и извне все

тоже горело: горело все тело... горели руки, лицо и шея... горели глаза, излучая неистовый, нестерпимый свет... даже губы горели, потому что яркая, бешеная улыбка не гасла ни на секунду...

Она угадала! Рыжий сидел за столиком вместе с какой-то общипанной цыпой. Плевать! Линда бесцеремонно протиснулась сквозь танцующих к его столику, уперлась руками в столешницу, вся выгнулась гибким змеиным телом и, от ужасного внутреннего напряжения перейдя на низкий, чуть хрипловатый шепот, с самой развязной интонацией, на какую была только способна, осведомилась: «Слышь, чудной, с лошадей целоваться пойдём?!»

КОСТЕР

Нет, извините, водки, – я не хочу. А почему вы подумали?.. Ах, наверно, из-за этих моих обносков... Так это не образ жизни, это, это... да бог с ним. Раз все, как говорят украинцы, «догоры дрыком» встало, что ж тут, что ж тут поделать. Знаете что, если можно, если только вас не слишком обременит – закажите мне лучше чаю, с лимоном, пожалуйста; на улице холодрыга такая, и я так ужасно, так ужасно промерз, – сил просто нет... Вы меня, если можете, извините, раньше бы – никогда... но теперь... наизнанку все... вывернулось... изнутри изменилось, непоправимо... непоправимо... что же делать теперь... что же теперь остается – или...или... Но на второе «или» другая воля нужна, а она не у всех есть, понимаете, совсем она есть не у всех...

Вот спасибо, век буду помнить. Когда ничего не закажешь, выгоняют, немедленно. А на улице вон как... лютует... Мне б хоть немного, немного пересидеть... Очень сильно замерз, очень сильно... А чай горячий какой,

и пахнет как вкусно... Знаете что, а давайте я, пока чай буду пить, историю вам расскажу, а то вы сидите один, понурый такой, нахнюпленный... Вам грустно, наверно; а я поболтаю немножко, может, повеселее вам будет. Надоест, вы скажите, не стесняйтесь, скажите, я перестану. Ну вот и ладно, ну вот...

Знаете, я один ведь живу. Паршиво, конечно, но так... обстоятельства так сложились, ничего не поделать... вся эта новая жизнь... Привыкнуть – нельзя, но свыкнуться, свыкнуться – можно. Я свыкаюсь со всем этим понемногу, только вот все никак следить за собой не научусь, но это не важно, не важно... Да, так, значит, совсем иногда паршиво становится, и что тогда делать – не придумать никак. Телевизор я продал... давно, радио, правда, есть, старенькое, но страшно надоедает... А за домом моим – огромный пустырь, и окна моей квартиры туда выходят; там в наши благополучные времена строить что-то надумали, да вдруг и заброси-

ли. Теперь там огромная свалка, огромная, собаки бродячие бегают, кошки, отребье всякое иногда забредает... Ну, не важно...

Обычно я, чтобы дома один не сидеть, шатаюсь по улицам. Иногда... до полного изнеможения, сегодня, видите, вот, сюда аж забрел – черт знает, как получилось... Но только здоровье уже не всегда такие походы предпринимать позволяет, уже не всегда, да и погода... Тогда я сажусь у окна и смотрю на пустырь, особенно вечером – хоть какое-то развлечение; одному очень, знаете, трудно сидеть и время так тянется – невыносимо... А на пустыре, там всегда что-нибудь происходит, особенно летом... или весной... или осенью – когда погода хорошая. Зимой, как сейчас, там, правда, нет никого, но это не важно, не важно, тогда я просто жду, а вдруг что-нибудь да произойдет... и от ожидания этого время тоже немного быстрее проходит, совсем немного, но все же быстрее... Правда, в последнее время не спасает и это.

Да, так вот я недавно сидел, сидел – и надумал: пошел на пустырь, насобирал там деревяшек, картонок, – в общем, всякого барахла, – в кучу стащил и – поджег; потом вернулся домой, сел у окна и стал на огонь смотреть, как он весело там, в темноте крошечной горит... Знаете, если смотреть, если долго смотреть на огонь, мысли всякие в голову вдруг приходиться начинают, воображаешь тогда что-нибудь... прошлое хорошо вспоминается, разности всякие... и не скучно тогда... почти. Мне так это понравилось, так понравилось, что я стал довольно часто костер на своем пустыре зажигать и смотреть на огонь. Но недавно, недавно, еще осень была, перед самой зимой, какой-то мерзкий бродяга стал зачем-то огонь мой тушить: только я костер разожгу, только к себе на этаж поднимусь, включу ночник у окна, как этот подлец выныривает из темноты – следил за мною, наверное, свет в окне моем, что-ли вычислил – не знаю, и принимается все ногами расшвыривать, и

при этом, скотина, приплясывает, тряпкой какой-нибудь над голову размахивает, издевается...

Я не знаю, не знаю зачем он представление это устраивал, чем мой костер ему помешал... Ну погрелся бы, посидел себе у огня – холодно ведь, – так нет!.. Сильно меня он тогда, мерзавец, достал.

Однажды я разложил костер, но только сделал вид, что ушел, только вид сделал, свет заранее возле окна включил – забыл, значит, – а сам притаился невдалеке за стеной недостроенной, дождался, когда он костер расшвыривать станет и набросился на него...

Мы схватились с ним просто насмерть, рычали, как звери, катались по земле, пытались порвать друг друга на части – два тощих неандертальца в борьбе за первобытный огонь... Что вы... улыбаетесь... Так ведь оно и было на самом деле, так и выглядело! Да и чем мы от них если начать разбираться, чем мы сильно от них отличаемся? Машинами всякими, телевизорами? Разве ж это отличие?! Как только у нас, таких продвинутых, как сейчас говорят, ненадолго ерунду эту электронную и механическую отбирают, мы тут же, ну тут же ведь, кубарем к предкам нашим и скачиваемся, и, как ни в чем не бывало, спокойненько продолжаем жить без гордости нашей, замечательной нашей цивилизации... Ну ладно, давайте я дальше вам расскажу.

Мы вконец ослабли от этой бешеной драки, не по возрасту была она уже нам, да и не по нынешним физическим нашим кондициям, но я вдруг изловчился и изо всех своих сил ударил его камнем по голове. Он сразу, как-то обмяк и затих, обмяк и затих совершенно, а я испугался ужасно этой его неподвижности и убежал.

Всю ночь меня колотило, выворачивало наизнанку, все казалось, что я забил его насмерть и теперь меня – обязательно найдут и посадят. Можно было бы выйти и посмотреть, но я все никак не решался выйти на черный пустырь, все никак не решал-

ся, только мучился все больше и больше, и к утру уже был почти неживой от страха и боли... Но утром, когда вообще не так страшно, что бы ни было, я все же пошел. Конечно, никого и в помине там не было, одни только жалкие головешки, одни головешки...

Вечером этого дня я, как всегда, сел у окна и стал смотреть на пустырь; и вдруг это пугало огородное появилось, костер разожгло и стало приплясывать и призывно руками махать: выходи, мол. Меня отчего-то такое от этого горе взяло, что я даже заплакал, как дамочка-неврастеничка – навзрыд, никак остановиться не мог, рыдал, пока не заснул. Назавтра я вечером сел у окна, но не зажигая ночник, думал так его с толку собью, но

он снова костер разложил и руками зама- хал... Скотина! Скотина!

Я снова хотел его подстеречь и... Только за что, за что?! Что он такого мне сделал? За что его надо было убить, уничтожить?! Видно, я просто из ума выживать стал... от одиночества... Как еще объяснить?

Знаете, я теперь, наверно, пойду. Спасибо, спасибо за чай. Спасибо за все. Я пойду.

За окном зашел на посадку огромный пассажирский лайнер, и аэропортовский ресторанчик наполнился диким ревом и грохотом, посетители приумолкли, пережидая, только ложечка в пустом чайном стакане дребезжала звонко-презвонко, и никакой рев и грохот не могли заглушить этот звон.